

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

**ВРЕМЕННОК  
ПУШКИНСКОЙ  
КОМИССИИ**

Выпуск 33

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ



Санкт-Петербург  
2019

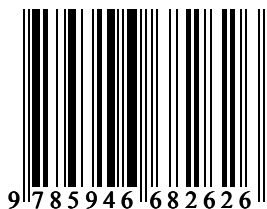
УДК 821.161.0  
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1  
В81

*Издание основано в 1962 году*

Редакционная коллегия:  
А. Ю. Балакин (*ответственный редактор*),  
М. Н. Виролайнен, Е. Е. Дмитриева

Рецензенты:  
А. В. Дубровский, С. И. Панов

ISBN 978-5-94668-262-6



© Авторы статей, 2019  
© Пушкинская комиссия РАН, 2019

## О ПУШКИНСКИХ АПОФФЕГМАХ

Вот известное пушкинское высказывание об «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина из рецензии на «Историю русского народа» Н. А. Полевого, датирующейся началом 1830 г.: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своєю критикой он принадлежит истории, простодушием и апоффегами — хронике» (XI, 120).

Пушкин констатирует «двувременность» труда Карамзина, отразившую «двувременность» личности его создателя. *Историк* — это фигура нового времени, труд которого состоит «в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий» (XI, 120). Для такого изображения необходим «критический» подход к источникам. *Летописец* — фигура из седой старины: ему для точной передачи эпохи необходимо «простодушие», умение описывать прошедшее в «хронике», «не мудрствуя лукаво», «добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева» (VII, 18). Безусловной приметой старины оказывается наличие в этой хронике апоффегм (греч. *apophthegma*) — изречений и нравоучительных сентенций.

«Словарь Академии Российской» (1789) толковал понятие «апоффегма» следующим образом: «Краткой и разумной ответ; краткое и замысловатое слово; краткое и достопамятное изречение, мудрая отповедь. *Познай себя. Солон. Наблюдай случай. Питтак. Беда близко поруки. Фалес*».<sup>1</sup> Приведенные в словарной статье примеры апоффегм греческих «мудрецов» демонстрируют тот идеал жанра «изречения», который ценился в «допушкинские» времена: лаконическое умение вложить в минимальное количество слов максимально весомую нравственную сентенцию. Возникало не столько «изречение», сколько словесная формула, проповедующая известное этическое «правило».

Пушкин не особенно уважал подобного рода нравоучительные апоффегмы. Так, в 1835—1836 гг., увлекшись «Словом о полку Игореве», он вычитал в книжке Н. Ф. Грамматина, бывшей в его библиотеке,<sup>2</sup> рассуждение о том, что названия букв славянского ал-

<sup>1</sup> Словарь Академии Российской. СПб., 1789. Ч. 1. Стб. 41.

<sup>2</sup> См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 31. № 104. Книга называется: *Грамматин Н. Слово о Полку Игоревом*, историческая поэма, писанная в начале XIII-го века на Славенском языке прозою и с оной переложенная стихами древнейшего русского размера, с присовокуплением другого буквального приложения, с историческими

фавита выстроены как «Азбучная молитва» св. Кирилла — собрание учительных апофегм: аз буки веде; глагол добро есть; живе-те земля иже; како люди мыслете; наш он покой; рцы слово твердо и т. д.<sup>3</sup> Пушкин и сам обыгрывал славянские названия букв — в том же «Евгении Онегине»: «И русский Н<аш> как Н французский...» (VI, 46); «И подписала Т<вердо> Л<юди>» (VI, 320). Но в данном случае его не удовлетворили сами получившиеся «апофегмы». Поэт откликнулся ядовитым замечанием: «Буквы, составляющие славенскую азбуку, не представляют никакого смысла. *Аз, буки, веде, глаголь, добро* etc. суть отдельные слова, выбранные только для начального их звука. У нас Грамматин первый, кажется, вздумал составить апофегмы из нашей азбуки. Он пишет: “Первоначальное значение букв, вероятно, было следующее: *Аз Бук* (или *Буг*) *веду* — т. е. я Бога ведаю (!), глаголю: добро есть; живет на земле кто и как, люди мыслят. Наш Он покой, рцу. Слово (*λόγος*) твержу...” (и прочая, говорит Грамматин; вероятно, что в прочем не мог уже найти никакого смысла). Как это все натянута!» И в ре-*pendant* к этим изыскам приводит пародийную «трагедию, составленную из азбуки французской», где слова действующих лиц созвучны названию букв французского алфавита (XII, 180–181). При этом Пушкин намеренно утрирует, «перелицовывает» и обесмысливает те апофегмы, которые действительно могут быть рассмотрены как части «Азбучной молитвы».<sup>4</sup>

Иной характер имели апофегмы Карамзина. Пушкин основательно проработал «Историю Государства Российского». Весной 1818 г., во время болезни, он «с жадностью и со вниманием» прочел первые восемь томов (XII, 305), а следующие тома стали основой для создания (в 1824–1825 гг.) «Бориса Годунова» — поэт, что называется, «разбирал» и «оживлял» их сцена за сценой. И, естественно, не мог не обратить внимания на апофегмы, буквально рассыпанные по всему карамзинскому повествованию. Традиционное «посвящение» Александру I венчается формулой: «История народа принадлежит Царю». А следующая страница открывается новой апофегмой: «История есть священная книга народов». И далее, по всему повествованию: «Слово *Князь* родилось едва ли не от

---

и критическими примечаниями, критическим же рассуждением и родословною. М., 1823.

<sup>3</sup> Подробнее эта же идея излагалась в более ранней книге Грамматина «Рассуждение о древней русской словесности» (М., 1809).

<sup>4</sup> См.: Савельева Л. В. Славянская азбука: Дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста // Евангельский текст в русской литературе XIX–XX веков: Сб. науч. трудов. Петрозаводск, 1994. С. 12–31.

коня»; «Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество»; «Великие дела и польза государственная не извиняют ли властолюбия Олега?»; «Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою»<sup>5</sup> и т. д. и т. п. — вплоть до знаменитого «Народ безмолвствует»: рефрен о народном молчании активно повторялся в последних томах «Истории...».<sup>6</sup>

Апофегмы Карамзина, в отличие от классических апофегм античности, предлагали не безусловные рецепты нравственного поведения, а прежде всего установку на *несогласие*. В них заключался скрытый или открытый *парадокс*, который провоцировал читателя на обдумывание, приводившее либо к единомыслию с автором, либо к полемике с ним. Так, объявление истории «*священной книгой народов*» вызвало критику М. Т. Каченовского, выступившего с серией полемических писем «От Киевского жителя к его другу», где подробно «рассматривал *предисловие* к Истории Государства Российского, в котором многие места восхищают мою душу, но где также есть кое-что, вовлекающее слабую голову мою в соблазн *критикования*».<sup>7</sup> «Критический» пафос рецензента был направлен как раз на позицию «последнего летописца».<sup>8</sup> А лозунг «*История народа принадлежит Царю*» стал основой и для размышлений о создании принципиально *иной* истории, с другим предметом исследования («История русского народа» Н. А. Полевого), и для проектов «молодых якобинцев», направленных против «необходимости самовластья» (Н. Муравьев).

Иногда Карамзин открыто демонстрировал поэтику *парадоксальной апофегмы*. Так, в финале девятого тома «Истории...» возникает речь об исторической оценке царствования Ивана Грозного, наполненной живописными примерами ужасов самовластия: «добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в *народной памяти*». Следует парадоксальное объяснение, почему так случилось: «...доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые

---

<sup>5</sup> Карамзин Н. М. История Государства Российского: В 3 кн. 5-е изд. СПб., 1842. Кн. 1. С. IV—V; Ст. 45, 67, 87, 107.

<sup>6</sup> См.: Алексеев М. П. Реплика Пушкина «Народ безмолвствует» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972. С. 208—239.

<sup>7</sup> Вестник Европы. 1818. Ч. 101. № 18. С. 127. Продолжение: Там же. 1819. Ч. 103. № 2. С. 117—132; № 3. С. 198—208; № 4. С. 289—298; Ч. 104. № 5. С. 45—53; № 6. С. 124—136.

<sup>8</sup> См.: Кудрявцев И. А. «Вестник Европы» М. Т. Каченовского об «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина // Труды Моск. Историко-архивного ин-та. 1965. Т. 22. С. 211—249.

монументы Царя-Завоевателя; чтит в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну». Завершает это длинное рассуждение апофегма: «*История злопамятнее народа!*»<sup>9</sup>

В этом высказывании соплагаются две точки зрения на одно и то же явление прошлого, по отношению к которому научное историческое знание сохранило «злую» память, а непосредственное народное восприятие утратило неприязненное отношение к совершенному персонажем *злу*. Но разведение двух точек зрения неизбежно приводит к исходной проблеме и к той апофегме, которая была высказана ранее: если «история есть священная книга народов», то почему она может становиться с народом не солидарной?<sup>9</sup> и зачем тогда нужна история?<sup>9</sup> не следует ли вовсе отказаться от объективной исторической оценки — и присвоить непосредственно народную оценку, сохранившую естественную значимость?<sup>9</sup> Так возникает логика многомысленного парадокса, предполагающего особенную поэтику.

Обдумывая эту «летописную» поэтику Карамзина, Пушкин, наряду с наличием апофегм в его повествовании, выделил еще и такую черту, как «простодушие». Та же апофегма «*История злопамятнее народа!*» кажется восклицанием, выражающим простодушное удивление историка тому обстоятельству, что «народ» как будто не запомнил многочисленных злодеяний «грозного» царя, доказательства которых сохранились «в книгохранилищах». Людская память предпочла их забыть, а «летописцу» остается только руками развести, произнеся эту, совсем не безусловную и откровенно парадоксальную, апофегму: дескать, так вот получается, сам удивляюсь!

Подобную поэтику «простодушного» удивления Пушкин использовал и в собственных апофегмах. Одна из первых прозаических публикаций поэта — «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) — должна была открываться предисловием, апеллировавшим именно к *простодушью*, основному источнику «глубокомыслия». Здесь поэт с добродушной усмешкой ссыался на пример дяди, известного этим свойством характера: «Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассу-

---

<sup>9</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. 3. Ст. 278—280.

дил, что его огорчила безделица, и написал: *нас огорчают иногда сущие безделицы*. <...> Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постелю. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные» (XI, 59). Предисловие, правда, Пушкин в публикацию не включил: зачем обижать дядю?

Упомянутые апофегмы В. Л. Пушкина — «Замечания о людях и обществе» — незадолго перед тем появились в альманахе «Литературный музей на 1827 год» — и действительно мало чем отличались от «глубокомысленного» наблюдения, придуманного племянником: «Горесть, которую никому открыть не можно, есть величайшая» или: «Многие из нас готовы на советы, редкие на услуги» и т. п.<sup>10</sup> Внешне они приближались к жанру «максим», распространенному во французской словесности XVII—XVIII вв. (Монтень, Ж. Масьё, Кондильяк и др.). Этим максимам подражали многие из старших карамзинистов — например, К. Н. Батюшков в своих «Мыслях» (1810), представлявших уроки абстрактной «мудрости» типа: «Что есть благодарность?» — «Память сердца» или: «Любовь стареется, почтение также» и т. п.<sup>11</sup>

Но по своей внутренней сущности «замечания» Василия Львовича оказываются далеки от заемных максим, применимым ко всем случаям жизни. Размышляя «о людях и обществе», Пушкин-дядя исходил из конкретных ситуаций своей обыденной жизни (что отмечает и племянник: дядя «заболел», дяде сварили плохой кофе, дяде не понравилась романтическая пьеса и т. п.) — и обобщает именно их, примериваясь к разным возможностям словесного оформления пережитых ощущений. Поэтому его апофегмы, как и у Карамзина, непременно должны применяться к его «простодушному» приятию окружающего мира.

Вот дядя начинает учительную апофегму: «*Атеизм есть совершенное безумие*». Эта посылка требует объяснения — и оно наилучшим образом демонстрирует ощущение Василием Львовичем окружающего мира. Поэтому «замечание» продолжено: «Взгляни на солнце, на луну и звезды, на устройство вселенной, на самого себя и скажешь с умилением: есть Бог!» Сиюминутное мировосприятие автора становится доказательством бытия Божия.

Иногда апофегма выглядит как вопрос: «*Какая выгода быть добрым?*» Наблюдение над «обществом» как будто подчеркивает: никакой выгоды доброта не приносит: «Злые благоденствуют, доб-

<sup>10</sup> Пушкин В. Л. Соч. СПб., 1893. С. 143–144.

<sup>11</sup> Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 265–266.

рые угнетены судьбою». Но Василий Львович соотносит бытие «угнетенных добрых» с собственной личностью и с удовлетворением продолжает: «Ты забыл, что сии последние наслаждения первейшим благом в жизни — чистою совестью».

Пушкинские апофегмы тоже строятся по принципу «ad hominum» и тоже допускают — и даже требуют — семантического расширения. Вот в его «Отрывках...» находим парадоксальное наблюдение: «*М<осква> — девичья, а П<етербург> прихожая*» (XI, 57). Как установил В. Э. Вацуро, эта апофегма восходит к высказываниям П. А. Вяземского,<sup>12</sup> «москвича» по рождению и пристрастиям, любившего тему противопоставления двух российских столиц. Но не случайно в публикации эти столицы не названы полностью: за безобидным, казалось бы, наблюдением кроется серьезная проблема о судьбах родового дворянства, демонстративно различных в каждой из столиц. Апофегма нуждалась в истолковании — и Пушкин в разных произведениях представил разные семантические возможности.

Вот — в «<Романе в письмах>» (1828) в реплике героя, уставшего от надоевшей «петербургской жизни»: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем и я кончу» (VIII, 52). Исходная оппозиция двух столиц осложняется введением дополнительного члена — *деревни*. Это позволяет на основе парадокса развернуть в кратком афоризме реальную картину жизни русского помещика дворянина.

Но Пушкин не успокаивается: он «примеряет» созданную апофегму к другим ситуациям. Вот — в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1833–1834) развернута картина Москвы как столицы независимого дворянства, издавна находившейся в оппозиции к Петербургу: «...некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. <...> В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками...». Москва, подчеркивает наблюдатель, в последние времена обеднела, утратила свою былую независимость: «Куда девались балы, пиры, чудачки и проказники — всё исчезло; остались одне невесты...» (XI, 246). Присмирившая Москва оста-

---

<sup>12</sup> Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 163–164.



ется лишь «девичьей». Но и возвысившийся с ее падением холодный Петербург — не более чем «прихожая», где толпятся искатели «денег, славы и чинов» и делает карьеру новая знать. Подобная же антиномия развернута и в стихах (в поэме «Медный всадник», где «старая Москва» предстает «порфироносною вдовой» — V, 136).

А. А. Алешкевич подметила, наконец, и прямой возврат в этом тексте к исходной апофегме: «Глава “Москва” завершается следующим образом: “...я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости”. Не имеется ли в виду все тот же афоризм, впервые появившийся в “Отрывках...”?» Л. П. Гроссман, анализируя использование анекдота в творчестве Пушкина, отметил прием “утаенного анекдота”, когда анекдот дается в подтексте, намеком. Если наше предположение верно, то здесь мы встречаемся со своего рода “утаенным афоризмом”». <sup>13</sup> Но зачем «утаивать» учительную апофегму?

Пушкинские апофегмы — и парадоксальны, и многозначны. В «Литературной газете» за 15 февраля 1830 г. он печатает следующее «критическое наблюдение»: «Острая шутка не есть окончательный приговор. \*\*\* сказал, что у нас есть три Истории России: одна для *гостиной*, другая для *гостиницы*, третья для *гостиного двора*» (XII, 178). Каламбур имеет конкретную критическую направленность. «Три Истории» — это «История...» Карамзина, «История Российская» (1817–1818) С. Н. Глинки и только что вышедшая «История русского народа» Н. А. Полевого. Показательно, что две статьи Пушкина о последней («гостинодворской») «Истории...» Полевого появились тогда же в «Литературной газете»: статья I — чуть раньше приведенного каламбура (16 января 1830 г.), статья II — чуть позднее (25 февраля). <sup>14</sup>

Критическая устремленность каламбура кажется несомненной. Но предшествующая ей апофегма об «острой шутке», которой неуместно быть «окончательным приговором», как будто вступает в противоречие с ним. Кажется, что Пушкин парадоксально «предупреждает», что дальше последует нечто необязательное, к чему не стоит относиться серьезно. И сами эти несерьезность и двусмысленность входят в поэтику парадокса.

---

<sup>13</sup> Алешкевич А. А. О малых жанрах критической и публицистической прозы А. С. Пушкина: («Отрывки из писем, мысли и замечания») // Пушкин и русская литература: Сб. науч. трудов. Рига, 1986. С. 73.

<sup>14</sup> См.: Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига 1830 года (№ 1–13). М., 1988. С. 59–61, 147, 173–175.

В одной из «болдинских» рукописей Пушкина (ПД 166), на отдельном листе, с черновым автографом XXXVII строфы восьмой главы «Евгения Онегина» (датируемой октябрём 1830 г.), внизу записано карандашом: «Переводчики — почтовые лошади просвещения» (XII, 179). Записано явно наспех, что называется, «для памяти»; в записи — не исправленная описка («подчовые»). Впоследствии Пушкин никак не использовал пришедшую ему в голову апофегму — и остается неясным, какую именно интенцию поэт вкладывал в это высказывание. Хотел ли он указать на значительность усилий «переводчиков», которые помогают читателям познакомиться с мировой культурой? Или — иронизирует над ними (сравнивая с не самыми разумными существами)? «Почтовые лошади» отличаются от прочих лошадей прежде всего быстротой (тот же Онегин «стремглав по почте поскакал»). Но не является ли столь быстрый бег заимствованного «просвещения» ущербным для развития культуры, откровения которой в плохих переводах часто искажаются? Что это: похвала или насмешка?

Иногда эта затейливость парадокса доводится до крайности. В опубликованных «Отрывках...» 1827 г. содержится «замечание», соединяющее три различных апофегмы, — первая принадлежит Н. Буало («L'art poétique»), вторая Вяземскому, последняя — самому Пушкину: «Un sonnet défaut vaut seul un long roème.<sup>15</sup> Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии... что это значит? Можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?» (XI, 54). Три апофегмы расположены в порядке мнимой градации. Но если французская фраза Буало выглядит этаким «советом» поэту, то следующее за ним высказывание Вяземского, в котором соплагаются эпиграмма и трагедия, выглядит простой насмешкой над длинными и глупыми творениями «арханстов», достойных разве что «эпиграмм». А финальный пушкинский вопрос высвечивает парадоксальную абсурдность подобных нормативных «советов». И все апофегмы мигом утрачивают свою «учительность».

Иногда эта «учительная» направленность дезавуируется самим автором. Так, П. В. Анненков в 1855 г. впервые опубликовал апофегму («шуточное замечание») Пушкина «Зависть — сестра соперничанья, стало быть, из хорошего роду» (XII, 179). Публикатор отнес это замечание к работе над трагедией «Моцарт и Сальери» (которую Пушкин первоначально собирался назвать «Зависть»). Анненков рассуждает «насчет поклепа, взведенного на Сальери в новой пьесе», констатирует «резкий приговор Пушкина о Саль-

---

<sup>15</sup> Безупречный сонет один стоит длинной поэмы (франц.).

ери, не выдерживающий ни малейшей критики» — и заодно приводит другую пушкинскую заметку («<О Сальери>»), завершающуюся тоже своеобразным афоризмом: «Завистник, который мог освистать „Дон-Жуана“, мог отравить его творца» (XI, 218). Пушкинист отказывается входить «в разбор вопроса о степени предположений, дозволенных автору при выводе исторического лица»<sup>16</sup> — и уходит от естественного вопроса: как, собственно, сам Пушкин относился к чувству зависти?

Завидовать успехам коллег — это *хорошо* или *плохо*? Если исходить из первой апофегмы — скорее, хорошо: зависть является стимулом «соревнования» и катализатором для собственных творческих достижений. А если исходить из второй — то это чувство таит в себе смертельную опасность и толкает на преступление против талантливого коллеги-«творца». При этом показательно, что обе апофегмы созданы уже *после* завершения «Моцарта и Сальери»: первая в 1831-м, вторая — весной 1832 г. Пушкин по-разному заостряет развернутую в трагедии проблему и превращает ее в неразрешимый парадокс.

Классическая греческая апофегма восходила к семи греческим мудрецам и предполагала создание своеобразных «уроков жизненной мудрости». Но сама эта жизненная мудрость получалась отнюдь не однозначной: каждый из «семи мудрецов» предлагал собственные «апофегмы». Вот (в пересказе М. Л. Гаспарова) фрагмент из диалога, приписываемого греческому моралисту Плутарху, — семь мудрецов предлагают разные ответы на один вопрос:

«На вопрос, какой город — лучший, Солон ответил: “Тот, где обидчика требует к ответу не только обиженный, но и необиженный”. Фалес ответил: “Где нет ни слишком бедных, ни слишком богатых”. Анахарсис ответил: “Где лучшее воздается добродетели, худшее — пороку, а все остальное — поровну”. Питтак ответил: “Где дурным людям нельзя править, а хорошим нельзя не править”. Биант ответил: “Где закона боятся больше, чем правителя”. Клеобул ответил: “Где порицания боятся больше, чем закона”. А Хилон ответил: “Где больше слушают законы, чем ораторов”».<sup>17</sup>

Мудрость по-разному аккумулируется в каждом из парадоксов: какой из них «мудрее»? Ведь каждый парадокс имеет, в сущности, две стороны. С одной стороны, он несет в себе эффект несоответ-

<sup>16</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 266.

<sup>17</sup> Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995. С. 74.

ствия привычным представлениям (от греч. *paradoxos*, неожиданный). Но вместе с тем, проявившись, парадокс начинает немедленно тяготеть к вполне «ожидаемым», консервативным данностям. Пушкин — в попытках создания такой апофегмы, которая «сама себя дезавуирует», — явно старается разрушить это общее правило.

*В. А. Кошелев*

## «БАЙРОНОВСКИЙ ПАРАДОКС» ПУШКИНА Психологический портрет как историко-культурная проблема

Одна из лучших мыслей Шкловского — то, что психология начинается с парадокса.

*Лидия Гинзбург*<sup>1</sup>

...никому не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томительной, надрывающей душу грусти к самой бешеной, исступленной веселости!

*Виссарион Белинский*<sup>2</sup>

### 1

«Кстати, — замечает А. С. Пушкин в своем незавершенном «Путешествии из Москвы в Петербург» (1833–1835), — я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости» (XI, 248). За этими словами в белой рукописи идет заголовок «Москва и Петербург», но что это за веселое произведение и кто его меланхолический автор, так и осталось неизвестным.

Загадка «великого меланхолика», знающего минуты веселости, уже почти полтора века привлекает к себе внимание пушкинистов. На эту роль рассматривалось несколько претендентов: Н. В. Гоголь

---

<sup>1</sup> Гинзбург Л. Человек за письменным столом. М., 1989. С. 17.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 540.